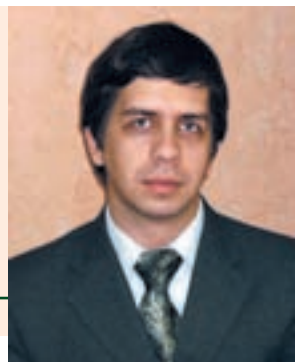




А. А. Житенев

## «Я, КАЖЕТСЯ, В ГРЯДУЩЕЕ ВХОЖУ»: судьба и слово О. Мандельштама в русской лирике 1970—1990-х гг.



**В** 2008 году исполняется семьдесят лет со дня гибели О. Мандельштама. Памятная дата располагает к размышлениям на самые разные темы, но, возможно, больше всего — к размышлениям о механизмах самой культурной памяти. Отсылка к дате важна, когда основания памяти не разрушены, когда есть живая связь с прошлым. Существен ли для современного интеллигентного человека художнический и человеческий опыт Мандельштама? Как он воспринимается сегодня и в чем его значение?

Эпоха «большого чтения» закончилась. Напряженная духовная жизнь, еще недавно соотносимая с литературой, сначала переместилась в иные сферы культуры, а потом и вовсе сошла на нет. Знакомство со словесностью перестало быть признаком коминформации. Падение интереса к литературе закономерно сказалось на отношении к корпусу классических текстов. Для интеллигентского большинства культура прошлого стала системой знаков — отчужденных и ни к чему не обязывающих.

Для Мандельштама «культура не есть мертвый инвентарь». В этом его принципиальное расхождение с современностью, с ее инструментальным отношением к прошлому, нежеланием входить в мир образующих его смыслов. Последовательный противник культурного небытия, Мандельштам сегодня — архаическая фигура. Это не означает, конечно, полного охлаждения к поэту. Вернее было бы сказать, что отношение к его текстам стало сегодня очень дифференцированным.

Изменился мир книг — и тексты Мандельштама утратили очарование самиздата. Расширилось информационное поле — и они перестали представлять за весь серебряный век. Закончилась эсхатологи-

ческая эпоха — и многие лирические интонации стали казаться выпренными. Сужение круга читателей и десимволизация образа поэта — взаимосвязанные процессы. В этом можно увидеть уменьшение масштабов фигуры, а можно — шанс приблизиться к «просто» поэту.

Когда в шестидесятых состоялось переоткрытие Мандельштама, это было грандиозным событием: «Все казалось им наивным и пошлым после него.» — пишет О. Седакова, повторяя слова Валери о Малларме, — Так случилось и у нас с Мандельштамом... Все в нем стало нравиться, вернее, стало эталонным» (Седакова О. Заметки и воспоминания о разных стихотворениях, а также Похвала поэзии // Седакова О. Проза. М., 2001. С. 61). В начале нового века экзальтированность восприятия ушла, не сделав, вместе с тем, опыт поэта сугубо «музейным»: «"Жизнь с цивилизацией" и "продолжение культуры" <...> отнюдь не утратили внутренней проблематичности. Их необходимо (из)обретать заново» ([Прохорова И.] Почему нужно вновь писать о Мандельштаме. (<http://www.magazines.russ.ru/nlo/2003/63/mandl-pr.html>))

В пространстве между двумя высказываниями — почти полувековой опыт культурного самосознания. Опыт меняющегося контекста. Думается, в памятный год, среди других приношений Мандельштаму, будет нелишним и размышление о том, как менялся от поколения к поколению его образ. История восприятия, анализ преломляющих призм, хотелось бы верить, не только выявляют стереотипы, но и приближают к истинной реальности.

Для самого старшего из сегодняшних литературных поколений Мандельштам был фигурой, значение которой определялось последовательной реализацией модели творчества как саморастраты. Взаимопереход жизни и искусства, неразрывно связанных авторской

ответственностью, объяснялся сознательной установкой на христианский кенозис. Акцент на жертвенности обуславливал выбор значимых деталей, равно как и предельно личностное их истолкование.

Характерный пример этой читательской стратегии — эссеистика И. Бродского: «Сын цивилизации, основанной на принципах порядка и жертвенности, Мандельштам воплотил и то, и другое» (Бродский И. Сын цивилизации // Бродский И. Собр. соч.: В 7 т. Т. V. СПб., 2001. С. 103). Что для Бродского Мандельштам? Поэт, сумевший в историческом хаосе семантически упорядочить время и передать в слове эффект его движения. «Психологическая и ритмическая реорганизация времени» (Бродский И. «С миром державным...» // Бродский И. Собр. соч.: В 7 т. Т. VII. СПб., 2001. С. 175) оказалась при этом настолько плотной, что ее постижение видится задачей отдаленного будущего. Единственно возможное сегодня — «интуитивный синтез», «критика “снизу”».

Сочетание пиетета, пафоса и пристрастности — самая характерная примета первых опытов освоения Мандельштама. Подтверждение тому — стихотворения памяти поэта А. Наймана и Г. Айги. В тексте Наймана (Найман А. Стихотворения. Терафлу, 1989. С. 87—88) поэт безымянен. Здесь есть знаковые детали, которые делают узнаваемым его образ, и есть анахронизмы, подчеркивающие типологически обобщенный характер ситуации: «Шел ва-банк и на попятную, / Лаз заделал на чердак, / С итальянской голубятнею / Не хотел порвать никак». Стремление к духовной независимости и чувство собственного достоинства делают поэта неразличимым в арестантской массе, приводят к разрыву всех человеческих связей: «А последний — шаркал, хохлился, / Губы складывал свистеть, / А в конце и теми проклялся, / На кого упала сеть». Абсолютное уничтожение памяти сочетается с персонифицированностью сил зла; вина за трагическую гибель воспринимается как грех, который лежит на всех: «Дали меду белым вяхирям, / А его свирельный альт / Растворили черным лагерем, / Закатали под асфальт».

У Айги (Айги Г. Поля-двойники. М., 2006. С. 90—91) акцент тоже стоит на трагедийности судьбы Мандельштама, но эта трагедийность прочувствована не столько извне, сколько изнутри. Опыт «окраинного» или запредельного бытия, жизни в аду — вот что, с точки зрения Айги, есть опыт Мандельштама: «Секунда в пробуждении: / застеноч-чудо!..

тишина... — / (светло и странно: / камера-секунда)». В этом существовании, сжавшемся в точку, пронизанном страхом, возникает слово, равное по силе первым именам вещей, возвращающее к их тишине: «И атомом-молитвой-точкой-страха: / (жемчужину б / ко лбу / чтоб утешить): /<...>/ есть — как Творенья зримость — есть: / губ тишина...» Сопротивление чудовишным обстоятельствам, тяга к тождеству слова и бытия, возвращение в жизнь через слово есть, по Айги, самый важный урок Мандельштама: «и шевелятся / губы — свето-сгустки / превосходя и зренья /<...>/ (и зримо-разрывающе: «Я — Есмь!»): / в застенке-камере секундном».

Для второго поколения неофициальной культуры судьба Мандельштама приобрела значение своего рода «зеркала», в котором можно было узнать собственный опыт безвременья и немоты. Устное бытование слова, восприятие его как поступка, обращенность к провиденциальному собеседнику — все казалось близким. Близким было и другое: острое переживание исторического тупика, идея возвращения в реальность только через смерть, страх разрыва культурной преемственности, вечной «европейской ночи».

В этом контексте каждое слово, каждый жест приобретали значение непререкаемой поведенческой модели: «Мандельштам был как бы символом, парадигмой существования свободной души в тоталитарном государстве» (Левин Ю. Почему я не буду делать доклад о Мандельштаме // Русская мысль. 1991. 26 июля. № 3889). Безусловному приятию подлежало все: «принципиальная словесность его стихов... композиционность: ничего “от себя”, чистое кристаллообразование формы <...> невозможность моралей и прямых смыслов» (Седакова О. Заметки и воспоминания о разных стихотворениях, а также Похвала поэзии // Седакова О. Проза. М., 2001. С. 61). В этой ситуации поэт стал полюсом притяжения, отчасти подавлявшим творческую инициативу и художническую волю. В самиздатской критике этот факт был осознан и получил шаржированное отображение: «Мандельштам оказался <...> превращен в лекало, по которому выверяется кривизна любого поэтического сооружения»; выяснилось, что «о любой книге можно сказать: “Так же, как у Мандельштама, только хуже” или “Не так, как у Мандельштама, то есть совсем плохо”» (Останин Б., Кобак А. Бумажный сатана // Останин Б., Кобак А. Молния и радуга: Литературно-критические статьи 1980-х гг. СПб., 2003. С. 150—151). В диапазоне между приятием и



прошли через полосу интенсивной учебы у Мандельштама. <...> Но это был Мандельштам, преломленный через призму абсурда, усвоенный с учетом футуристической зауми <...> Фактически это было преодоление Мандельштама» (Кривулин В. О. Мандельштам: открытие и преодоление // Кривулин В. Охота на Мамонта. СПб., 1998. С. 198).

Закономерно, что в анкете, предложенной современным поэтам журналом «Новое литературное обозрение» в начале нового века, оценки, даваемые Мандельштаму, находятся в диапазоне между ни к чему не обязывающими формулами признания («Всегда радуюсь, что он есть» — И. Ахметьев) и формулами признания, скрывающими явную идиосинкразию и неприятие («Мандельштам — пройденный этап» — И. Вишневецкий) («Дивная аритмия»: О. Мандельштам в восприятии современных поэтов. — (<http://www.magazines.russ.ru/nlo/2003/63/kll-pr.html>). Такого рода динамика с некоторыми важными нюансами отражается и в поэтических текстах последнего десятилетия, так или иначе обращенных к наследию Мандельштама.

Для поэтического поколения, вошедшего в литературу в 1990-е, Мандельштам — не столько фигура, сколько текст. Ощущение непосредственного контакта с личностью оказалось утрачено, возникла дистанцированность и отчужденность. Мандельштам видится в широком ценностном и смысловом контексте, экзальтированно-пристрастное отношение к нему сходит на нет. Судьба поэта отступает на второй план, единственно актуально только выборочное перечтение текста. Закономерно, что при таком взгляде мандельштамовское слово оказывается и чужим, и чуждым.

В поэзии С. Завьялова мандельштамовский текст («Сеновал») (Завьялов С. Мелика. М., 2003. С. 143) — это лишь канва, основа для перифрастической обработки. Собственно, сама интенция «перевода с русского» говорит о непреодолимой дистанции, о невозможности освоения текста. Перифраза оборачивается банализацией образности, упрощением художественной мотивации, неточностями и нарочитыми оплошностями в выборе слова. «Перевод» заведомо не идентичен оригиналу, обезличен и выхолонен: «Я уже не в состоянии вспомнить / как долго звучит во мне

эта мелодия / она неотвязна и невыносима / как ненасытный до крови писк комаров» (ср.: «Я не знаю, с каких пор / эта песенка началась — / не по ней ли шуршит вор, комариный звенит князь?»).

В стихотворении Е. Фанайловой (Фанайлова Е. С особым цинизмом. М., 2000. С. 28) значим даже не столько мандельштамовский текст, сколько интертекст, некое поле узнаваемых, находящихся на слуху цитат. При этом отсылка к ним не содержит, как можно было бы ожидать, стремления к диалогу. Вернее было бы сказать, что для современного поэта аллюзии — это некие мелодические и структурные формулы, эстетически наполненные безотносительно к конкретному содержанию: «Тяжелы плоды твои, Церера» (ср.: «Тяжелы, твои, Венеция, уборы»), «Хороши твои, голубка, слуги: / Рыцари с двойными прорезями глаз» (ср.: «Мы прошли разряды насекомых / с наливными рюмочками глаз»). Вошедший в плоть и кровь новейшей поэзии мандельштамовский текст растворился, потерялся в ней. Сможет ли он когда-нибудь снова «кристаллизироваться», учитывая только поэтический контекст, сказать трудно.

Итоги достаточно очевидны: пылкая любовь к поэту выветрилась, когда стал невозможен параллелизм исторических ситуаций. Мандельштам, воспринятый как борец с системой, ставший образом-символом трагической жертвы, остался в прошлом. Означает ли это, что в прошлом остался *весь* Мандельштам? Отнюдь. Как говорил сам поэт, страницы книг «раскрываются на том самом месте, какое нужнее всего для эпохи». Какие же страницы Мандельштама открыты сегодня? Думается, в первую очередь те, где речь идет о филологическом обеспечении единства культуры, о слове-«орешке» как начале, противостоящем историческому беспамятству.

«Ткани нашего мира обновляются смертью. Приходится бороться с варварством новой жизни, потому что в ней не побеждена смерть» (1915).

«Антифилологический дух вырвался из глубин истории», вокруг — «цивилизованная Сахара, проклятая Богом, мерзость заустения» (1921).

«Ослепнуть. Осязать и узнавать слухом. Такходишь в настоящее, в современность, как в русло высохшей реки» (1925).

